



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Мистические хулиганы

Читал литературные отчеты за год — и стало грустно, стало тошно. Когда смотришь на человека, страдающего морского болезнью — мы все более или менее страдаем ею на мертвой зыби реакции, — то самого тошнит. Простите за некрасивое сравнение, но ведь и в Писании сказано: *изблюю тебя из уст моих*.

Ну, так вот мне кажется, что в этих новогодних отчетах все мы, бедные писатели, дурно переваренные, искрошенные на мелкие кусочки, изbleванные из уст наших критиков, в жалком и отвратительном смешении вываливаемся из головы читателей.

В газете «Речь»¹ Леонид Галич, критик вообще остроумный и отзывчивый, отмечает в минувшем году «возрождение романтизма, в котором будто бы сливаются два течения — «мистический анархизм» и «неохристианство». Всякий романтизм, по мнению Галича, есть «греза о божественном совершенстве, вера в чудо, в то, что Бог преобразует мир». При таком определении романтизм совпадает не только с «неохристианством», но и с христианством вообще. Это с одной стороны, а с другой — во всяком будто бы романтизме «есть нечто от хулиганства»: «всякий романтизм есть махаевщина» — такова математически точная формула Галича.

Подведем итог.

Христианство есть романтизм; романтизм есть хулиганство; отсюда неизбежный выход — две величины, равные третьей, равны между собою.

Не надо быть христианином, достаточно быть культурным человеком, чтобы волосы дыбом встали от этого вывода. Ведь добрая половина европейской культуры создана или насквозь пронизана христианством: не только «Божественная комедия»,

Сикстинская мадонна, «Цветочки» Франциска Ассизского, но и «свобода, равенство, братство», которые взяты революцией тоже из христианства, как это понял еще Герцен. И все это оказывается никуда не годною романтической ветошью, «идейною махаевщиной», сплошным «хулиганством». Мировая культура опрокидывается одним щелчком пальца, как карточный домик.

Галич утешает нас тем, что на смену умирающего неоромантизма идет могучий неореализм в лице Розанова.

«Нынешняя тема его такова: Бог мешает жить людям; мечта о совершенстве мешает нам устраиваться на земле; надо думать не о небе, а о социальных неустройствах. Если хотите, — прибавляет Галич, — мысль уже вполне писаревская, и можно ждать, что не сегодня, так завтра мы услышим, что “сапоги выше Шекспира”. Да, мы к этому неудержимо идем, и что же остановит нас на пути?»

Некогда утверждение: «сапоги выше Шекспира» было невинным, хотя и невежественным ребячеством; теперь оно стало сознательным варварством, уже не романтическим, а реалистическим хулиганством. И вот мы «неудержимо идем к этому новому хулиганству — «и что остановит нас на пути?» Уж, конечно, не мистический анархизм, не неохристианство — эта, по мнению Галича, жалкая «идейная махаевщина, которая долепетывает свои последние фразы». Так что же, что же, ради Бога, что?

Но, не отвечая, Галич спешит к внезапному выводу: «Мы не вернемся к старой утилитарности, к позитивизму».

Почему же, однако, не вернемся? Ведь только что было признано, что у нас нет никакого удержу на этом возвратном пути, никакого оружия против старого позитивного варварства: «сапоги выше Шекспира».

Но Галич, опять-таки не оглядываясь, спешит, летит вперед: «Стараясь облегчить муки людей, мы, конечно, не забудем и о богах».

Позвольте, позвольте, вовсе не «конечно». И о каких «богах» мы не забудем? Ведь всякая «греза о божественном совершенстве» есть та же «махаевщина», то же «хулиганство».

Но, не слушая ни рака, ни щуки, лебедь рвется в небо: «Глядя в небо, не оторвемся мы от земли; наряду с религией созерцания возродим и религию действия».

После всего, что сказано о религиозно-романтической «махаевщине», это или ровно ничего не значит — тут «небо», «религия» — пустые звуки, или это значит: мы соединим оба

хулиганства, созерцательное и деятельное, романтическое и реалистическое, небесное и земное, в едином всеобъемлющем хулиганском синтезе — ив этом будто бы наше спасение.

Чудовищно. Не могу поверить, чтобы Галич действительно думал так. Но если не так, то как же?

Ничего не понимаю, ничего не вижу. Вижу только смешение непереваренных блюд и человека, одержимого рвотной судорогой. Надеюсь, что эта неприятность у Галича скоро пройдет, он выздоровеет и сделается снова остроумным критиком.

Благопристойнее страдает морскою болезнью Чуковский, писатель глубоко современный и чрезвычайно талантливый, который дает новогодний отчет о литературе в той же газете «Речь» рядом с Галичем, причем выводы обоих поразительно расходятся. По мнению Чуковского, никаких «новых течений», усмотренных Галичем, в современной русской литературе не существует вовсе: «В минувшем году русская литература ничего не решала, ни о чем не думала, ни о чем не спрашивала, жила и двигалась, как слепая».

Когда я это прочел, мне стало жутко: почувствовалась такая правда, которую я сам себе боялся сказать. Ведь это значит: в минувшем году русская литература впала в умственный столбняк, в идиотизм. То есть, конечно, много было разных мыслей, мыслишек, но единой мысли не было. «Всюду и везде общие положения иссякли, — продолжает Чуковский. — А если искать хоть тень какого-нибудь общего начала, то придется остановиться все на той же неумирающей идее современной культуры — на борьбе с мещанством. Но мещанство утратило для современной беллетристики сколько-нибудь конкретные черты и приняло титанические размеры. Свою «Жизнь человека» Леонид Андреев попытался вскрыть мещанственность всякой жизни, всякого существования — бытия, а не быта. В «Иуде и других» в мещанственности обличается весь мир, купивший и продавший Бога: даже ученики Христовы, даже мученики, даже апостолы — мещане. Если бы критик довел мысль Андреева до неизбежного, хотя, может быть, бессознательного конца, то оказалось бы, что в мещанстисности обличается не только весь мир, но и Бог («Некто в сером»), не только ученики Христовы, но и сам Христос. Галич почти соглашается с Розановым, что христианство — злокачественный романтизм, «хулиганство»; Чуковский почти соглашается с Андреевым, что христианство — «мещанство». Но почему же, однако, эта идея будто бы всей современной культуры — борьба

с мещанством, да еще с титаническим, — в русской литературе превратилась в бледную, мертвую тень, в грязную тину на дне высохшего колодца? И во имя чего борется Андреев с мещанством в мире, в Боге? Критик прошел мимо этого вопроса или, вернее, наткнулся на него, как слепой, и в слепом ужасе шарахнулся в сторону. А между тем ответ на этот вопрос, может быть, выяснил бы причины того умственного столбняка, в который, как верно и грозно предостерегает Чуковский, впала вся современная русская литература.

Галич, говоря о мистическом анархизме, забывает его пророка, Андреева; Чуковский, говоря о титаническом мещанстве, забывает его пророка, Розанова. А между тем сопоставление Андреева и Розанова в их полярной противоположности и полярном взаимодействии, может быть, бросило бы свет в ту темную «злую яму», в которую так неожиданно провалились все идеи русской литературы.

В глубоко проникновенной статье «Весенний ветер» (Русская мысль XII, 1907 г.), которую недаром наши мистические анархисты замалчивают — да и что им возразить, бедненьким? — Д. Философов говорит: «Как отнеслись к “Жизни человека” мистические анархисты?» «Ты наш, ты наш!» — закричали они вместе с толпой и начали вокруг Андреева свою свистопляску. Приветствовали в нем не возможный переход к высшему разуму, а отказ от здравого смысла. Этот отказ именно и прельщает мистических анархистов. «Все на свете бессмысленно, мы во власти темной иррациональной силы. Мир неприемлем. Да здравствует хулиганство!» Это значит: мистический анархизм есть мистическое хулиганство. Но если так, то вот и ответ на немой вопрос Чуковского: во имя чего происходит борьба с «титаническим мещанством»? Во имя титанического хулиганства. О, конечно, самого Андреева черта великого страдания или безумья отделяет от хулиганской резвости тех бесчисленных мистических анархистов, которые с «оргийным» визгом валяются, как щенята на солнце. Но в своем религиозном сознании или, вернее, в своей религиозной бессознательности, Андреев незащищен перед этим налезавшим на него, облипающим его мистико-анархическим хулиганством.

Что такое хулиганство? В эстетике это уже не вообще «сапоги», а «*мои* сапоги выше Шекспира»; в этике — «*мне* все позволено»; в религии — «во мне все божественно; я Бог, и нет иного Бога, кроме меня».

Древний хаос потревожим,
Космос скованный низложим,
Мы ведь можем, можем, можем, —

поет Городецкий². Разрушение космоса, разнуздание хаоса «во имя свое» — такова сущность мистического анархизма, мистического хулиганства — глубочайшей антирелигии, антихристианства.

Дубровино-меньшиковское, черносотенное христианство давно уже сделалось эмпирическим хулиганством. Но только в настоящее время, пока мистические анархисты, андреевские щенята, с одной стороны, превращают мистическое хулиганство в эмпирическое, Розанов — с другой — превращает старое эмпирическое хулиганство в новое, мистическое. Рано или поздно эти два противоположные течения встретятся и сольются в одном бездонном омуте.

4 января 1908 года в «Новом времени»³ произошло, может быть, удивительное для многих, но меня несколько не удивившее событие: в статье, озаглавленной «Вечная память», говоря о Воскресении Христовом, о воскресении мертвых, Розанов назвал это воскресение «всемирным скандалом», «всемирною плевательницей». В следующем номере А. Столыпин, брат своего брата, должно быть, немного испугавшись «скандала», пролепетал что-то о духовидце Сведенборге, но такое невразумительное, что тотчас же сам сконфузился и умолк. А в сущности пугаться было нечего; никакого скандала не произошло: плевательница так плевательница. Меньшиковы уж, конечно, возражать Розанову не подумали. Ведь в сущности он только высказал вслух их тайную мысль: ведь все они только и делают, что, громко защищая православие, потихоньку плюют во «всемирную плевательницу».

— Алексей Сергеевич, есть Бог?

— А чёрт его знает, есть ли. Впрочем, наплевать — неинтересно...

«Не имею интереса к воскресению, — признается Розанов. — Говорят: мы воскреснем со стыдом, с “обнажением”... Ну что же... Зажмем глаза, не будем смотреть. Не осудим друг друга. Не заставит же Бог плевать нас друг на друга, не устроит такой всемирной плевательницы... Нет, это так глупо, что, конечно, этого не будет. Просто, я думаю, умрем... *Так думаю, может быть, скверно, но так думаю.*»

Вот сущность мистического анархизма: может быть, скверно думаю, но это не важно, важно то, что я — я — Я так думаю; а ежели — я, то хорошо и скверное, потому что я — красота, я — истина, я — мера всего.

«Если бы я был великим иереем, — заключает Розанов, — я сотворил бы религию «здесь» и «здешнего», и, уверен, тогда бы нас гораздо лучше судили и «там», если вообще есть «там», что, впрочем, и не интересно, раз уже все положено «здесь». И Розанов сообщает единственную заповедь этой новой религии:

«Оставьте все как есть. Не тяните ни туда, ни сюда».

Но ведь это древняя, вечная заповедь всей черносотенной, мещански-хулиганской религии; дубровины, Меньшиковы только и хлопочут о том, чтобы «оставить все как есть», всякую существующую мерзость возвести в перл создания, признать божественной, только потому что она существует — поклониться непотребному богу непотребной действительности.

«Уничтожив Бога, разрушим все, что есть», — говорит андреевский Савва. «Уничтожив Бога, оставим все как есть», — говорит Розанов. Но и здесь, как везде, крайности сходятся: абсолютное мещанское «принятие мира» без Бога и абсолютное хулиганское «неприятие мира» тоже без Бога ведут, в последнем счете, к одному и тому же — к отказу от всякого действия, к успокоению в мещанском быте или в хулиганском небытии, к последнему безразличию, смешению добра и зла, красоты и безобразия, Бога и дьявола в одном хаосе, в одной слякоти.

«Приму ли я мир огулом, или огулом не приму — результат тот же, — говорит Д. Философов («Весенний ветер»). — Я признаю себя бессильным бороться со злом в мире. У мистических анархистов неприятие мира сводится к самому наивному его приятию, в том виде, в каком он есть», т. е. сводится к розановскому «оставьте все как есть». «Всякое возвращение вспять — непременно хулиганство», — заключает Философов. Можно бы заключить и обратно: всякое хулиганство есть непременно возвращение вспять, всякое хулиганство есть непременно реакция. Предел мистического анархизма — предел реакции. И это одинаково верно не только для Розановых, но и для андреевских щенят. Тут революция сходится с реакцией в какой-то глубочайшей мистической точке.

Вот что инстинктивно поняли нововременские товарищи Розанова — рыбак рыбака видит издалека; они поняли, что *мистический анархизм — громоотвод революции*. Вот почему Меньшиковы, Столыпины, защитники эмпирического черносотенного христианства, не захотели, не могли, не должны были возражать на мистическое хулиганство — антихристианство

Розанова. Оно им слишком с руки: это — новая вода на старую реакционную мельницу.

Разумеется, борьба с мещанством во имя хулиганства — совершенно призрачная, притворная: для чего им бороться, когда сущность их одна и та же — мир без Бога? Милые бранятся — только тешатся. Сколько бы ни боролись, рано или поздно мещанство с хулиганством непременно соединятся в абсолютной пошлости, в грядущем хамстве. Я говорил некогда о Хаме⁴ грядущем; боюсь, что скоро придется говорить о пришедшем Хаме.

Теперь понятен и тот идейный столбняк современной русской литературы, о котором говорит Чуковский. Мыслей, мыслишек — сколько угодно; талантов, талантишек — невпроворот. Целая юная поросль, целая внешняя радуга. Ну а что как это поросль прокаженных лишаев? что как это — радуга гниющих вод?

Философов кончает свою печальную статью неожиданно радостным возгласом: «Будем верить, что при свете религиозного сознания — русская литература выйдет из великого смятения — и тьма ее не обнимет».

Я тоже верю, что «тьма не обнимет света»; но Философова как будто не страшно, а мне страшно. Мне кажется, тьма не только обнимет, но уже обняла русскую литературу; может быть, около нее, над нею, где-то брезжит свет: но в ней — тьма. Да, страшно. И страшнее всего то, что хотя мы все более или менее отчаялись, но отчаянье наше равнодушное или даже веселое. Нет-нет да и завизжит кто-нибудь из валяющихся на солнце щенят:

Мы ведь можем, можем, можем!

И никто не ответит: врите, ничего вы не можете, даже того, что вас всех сейчас, как слепых щенят, в помойную яму вышвырнут, понять не можете.

И никто не слышит вопиющего в пустыне голоса: обратитесь, покайтесь. Отчаялись, но не покайтесь. А ведь только тогда, когда мы дойдем до последнего религиозного отчаяния, до раскаяния, когда поймем, что мы все на краю гибели, что Россия гибнет, — только тогда можно будет снова надеяться, что засветит во тьме свет и тьма его не обнимет.

